

ГОРЬКИЕ ПАРАДОКСЫ АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Диалог издревле существует не только как особая форма устной речи, но также и как самостоятельный литературно-публицистический жанр. Он был широко распространен еще в античности и достиг высокого уровня развития в эпоху Просвещения. Ныне к этому испытанному жанру публицистики прибег в одном из своих последних эссе, опубликованном в журнале «Эспрессо», Альберто Моравиа. Этот крупнейший итальянский писатель хорошо знаком нашим читателям как автор романов «Чочара» и «Презрение», «Римских рассказов» и более поздних новелл. Однако Моравиа-публицист у нас известен гораздо меньше.

Когда говорят и пишут о Моравиа, обязательно начинают с того или кончают тем, что он — писатель-моралист. Как ни стерлось такое определение, придется и нам исходить именно из него, потому что и в данном диалоге Моравиа остается верным себе и к анализу важнейших общественных явлений подходит по-своему, то есть опуская социальные и политические предпосылки и концентрируя внимание на морали, на характере людей. Тем не менее, хотя он не вскрывает подлинные корни затрагиваемых проблем, сами проблемы он ставит, на наш взгляд, правильно и правильно определяет следствия. А порой он даже предвосхищает некоторые движения общественной жизни.

Итак, писатель раздвоился: одна его половина (итальянец А) задает недоуменные вопросы другой половине (итальянцу Б). Причем делается это не для того, чтобы мог постичь истину — ту самую, которая познается в споре, — сам писатель (мудрый мэтр, надо понимать, ею давно владеет), а для того, чтобы прояснить ее другим итальянцам на все буквы алфавита — от А до Z.

...В начале диалога один из воображаемых собеседников спрашивает другого: «Чем был для Италии прошлый, 1968 год?» Тот отвечает, что это был год протеста, но протест назревал уже давно: против одних явлений — веками, против других — десятилетиями, против третьих — годами.

Первый вывод, который дружно делают А и Б: движение протеста было в минувшем году глубоким и радикальным, оно охватило все стороны жизни итальянского общества.

Протест итальянской молодежи имел два аспекта, уточняют участники диалога, один — международный, то есть был лишь проявлением более широких процессов, происходящих сегодня в мире, другой — чисто итальянский. Этот последний был направлен против авторитарных тенденций в итальянском обществе.

— Дай мне определение этого общества, — просит один собеседник другого.

— Итальянское общество скучно, — формулирует тот.

Против чего же протестовали студенты? Выходит, против скуки? Нет-нет, не истолковывайте это слово так узко. Скука бывает разная, поясняет Моравиа, то есть итальянец Б. Итальянское общество скучно в силу сложных причин — оно скучно, потому что глубоко испорчено, продажно.

Тут итальянец А прерывает ход рассуждений итальянца Б возгласом:

— Не будем заниматься морализированием!

— А почему бы и нет? —

отвечает тот, и дальше говорит, что испорченность, коррупция, как и все в Италии, имеют свои традиционные формы. Есть колоссальные жульнические сделки финансовых воротил, и мельчайшие «дела» тысяч проституток. Но всеобщая испорченность, продажность — лишь следствие. А главная причина куда серьезнее: «Итальянское общество испорчено, потому что глупо». Глупость порождает испорченность и продажность.

Основная предпосылка писателя верна — движение протеста в Италии носит всеобщий и радикальный характер. Но почему же Моравиа тотчас ограничивает это

движение лишь студенческими выступлениями? А грандиозная забастовочная борьба рабочих в городах? А массовые выступления батраков в деревне? А широкое движение художественной интеллигенции, требующей демократизации культурной жизни Италии, одним из проявлений которого именно в 1968 году был отказ от буржуазных фестивалей, выставок, конкурсов, премий? А взрывы общественного недовольства, порожденного нищетой и бесправием, как тот, что произошел недавно в Баттипалье? Список вопросов к автору диалога можно было бы продолжить... Но вернемся к предлагаемой Моравиа схеме, а схема эта выглядит не слишком убедительно: студенты протестуют, потому что общество скучно; оно скучно потому, что испорчено, продажно; оно испорчено и продажно потому, что глупо... Сплошь эвфемизмы: ведь один из участников диалога сам намекает, что скука бывает разная. Что ж, ради оригинальности с такой терминологией можно было бы согласиться и вспомнить даже один из больших романов Моравиа, который так и называется «Скука» и в котором под этим словом он подразумевал нечто более широкое — отвращение к буржуазности, мерзости окружающего мира, неприятие этого мира. Но, говоря о движении протеста в Италии, даже если и не называть вещи своими именами, можно ли обойти такие явления, как нищета, безработица, полицейские расправы? Однако для Моравиа пока что все сводится к тому, что итальянцы «испорчены», «продажны», а это происходит потому, что они... «дураки».

«Дураками» же итальянцы стали потому, выясняется далее в диалоге, что

«итальянское общество уже двадцать лет как позволяет себя коррумпировать посредством того, что... зовется благосостоянием».

— Но итальянцы вовсе не глупы, — пытается возразить А, на что Б говорит:

— Индивидуальный ум зовется сообразительностью, быстротой реакции, живостью. Но ум нации, общества, класса — это его культура. Итальянцы как индивидуальности сообразительны, имеют живой ум; но итальянское общество — в смысле культуры — нет.

Здесь в диалоге проявляется более чем обоснованное беспокойство писателя за судьбы национальной культуры — беспокойство, разделяемое всеми передовыми деятелями итальянской культуры. Под культурой Моравиа подразумевает (так поясняет итальянец Б) не только литературу, искусство, науку, но прежде всего образ жизни, вот почему он заявляет, что

«итальянская культура и современные итальянские обычаи — это в значительной мере подражание американской культуре, стремящейся стать гегемоном... Она ныне в Италии — идеал для подражания. А те, кто подражает пришедшему извне, расписываются в собственной глупости...»

Затем предметом диалога становится понятие «идеалы».

— Не устарело ли само слово? — спрашивает один.

— Назовем это воображением, — отвечает другой.

Что же такое воображение?

«Это форма непреодолимого, радикального, бескорыстного протеста, направленного против всякого «данного», которое претендует на неизменность. Или, если предпочитаете, против принятия циничной, наплевательской неофашистской по своей природе тавтологии: «мир таков, как он есть». Где нет такого воображения, там у нас — мертвые души, которых сегодня в Италии не меньше, чем было в царской России во времена Гоголя».

А дальше, увы, опять стремление придать всему надклассовый, вернее, внеклассовый характер, ограничить дело узкими возрастными рамками. По мнению итальянца Б, в итальянском обществе носителями «воображения» являются лишь молодые мятежники. Молодежь, в силу своего возраста, еще даже сама не испытыв всех дефектов итальянского общества, выясняется в ходе диалога, «вообразила» эти дефекты, угадала, представила их себе правильно. Например, молодые бунтари правильно «вообразили», представили себе то, что структура итальянского общества является классовой (неужели надо «угадывать» такие элементарные истины?).

Дальнейшие рассуждения А и Б по поводу характера итальянского общества и места в нем культуры довольно любопытны, и здесь мы, в общем, хотя и с некоторыми оговорками, согласны с ходом мысли автора.

Дело не только в классовости структуры итальянского общества, говорят А и Б, а в том, что функция этой структуры сводится (Моравиа считает, что именно из-за отсутствия «воображения», то есть идеалов и осознания исторической перспективы) лишь к защите классовых интересов.

«В Италии мы имеем, с одной стороны, промышленность, которая ничем не уступает промышленности других европейских стран. С другой стороны — государственную структуру (суд, полиция, социальное обеспечение, школы, университеты, больницы, вообще все учреждения), которая находится в позорных условиях культурной отсталости, подобной той, что царила во времена Бурбонов, и полного материального упадка. Контраст или, вернее, противоречие между современностью промышленной структуры и устарелостью государственной структуры

симптоматичен... Итальянская промышленность современна настолько, насколько дряхло государство. Ей не нужна современная государственная структура. Ей нужно только слабое и отсталое государство, которое обеспечило бы порядок или, точнее сказать, неподвижность и неизменность беспорядка. Предпочтение, оказываемое товарам по сравнению с культурными потребностями, свидетельствует о том уровне разложения, которого достигло итальянское общество в целом. Потребителю нужен лишь минимум образования, правосудия, здоровья. Итальянская промышленность позаботилась лишь о росте потребления посредством уменьшения безработицы».

(Разве уж так реально она уменьшилась? Ведь помимо сотен тысяч фактически безработных сколько в Италии людей, занятых лишь частично, сколько итальянцев вынуждено эмигрировать в поисках заработка? — Г. Б.)

«Все остальное,— продолжает Моравиа,— промышленность не интересует: потребительские товары приобретают ведь на деньги; а чтобы заработать деньги, культура вовсе не необходима. Но далеко не все приобретается за деньги; деньги — всего лишь то, что необходимо для удовлетворения повседневных жизненных потребностей. Именно в этом заключается оригинальность положения в Италии. Нас однажды назвали народом моторизованных дикарей. В самом деле, итальянской промышленности удалось превратить то, что необходимо для приличной, по современным критериям, жизни, в средство коррупции. Итальянское общество, если хорошенько в него взглянуть, продается за чечевичную похлебку».

Таков один из выводов, к которому с горечью приходит под конец диалога Моравиа. И он мужественно отвергает всякое утешение, всякие «смягчающие обстоятельства». — Да разве это не происходит повсюду? — вопрошает А.

Но Б отвечает, что да, «общество потребления» существует и в других странах, и они даже куда богаче Италии. Однако там потребительство уравнивается «меланхолическим сознанием того, что это зло». Большинство же итальянцев, по мнению Моравиа, даже не сознает, что потребительство это зло.

«Непонимание истинного характера потребительства, или, другими словами, коррупции,— говорит просвещающий итальянца А итальянец Б,— доказывает фетишизация в Италии предметов, необходимых для современного уровня жизни».

И, возвращаясь к поставленной в начале диалога теме — движению протеста молодежи и студентов, Моравиа устами воображаемых собеседников дает такую оценку значению этого движения: сперва в Италии было черное двадцатилетие (период фашизма.— Г. Б.). Потом наступило двадцатилетие белое (то есть годы клерикального засилья, период господства христианско-демократической партии.— Г. Б.). В черное двадцатилетие итальянцев пичкали риторикой, в белое — рекламой.

«Студенческий протест — это перелом. Он знаменует конец белого двадцатилетия... Студенты сделали в миниатюре то, что вьетнамцы — в широких масштабах. Они разоблачили мифы системы «производство — потребление» (мы сказали бы — системы современного неокapитализма.— Г. Б.). То есть они выступили против установленной этой системой шкалы ценностей. Самое яркое проявление «демифизации» — падение, сверху донизу, веры в систему».

...Некогда Моравиа, еще совсем юный писатель, интуитивно понял и в своем романе «Равнодушные» одним из первых в Италии показал гнилость фашистского режима. Потом, в первые послевоенные годы, сумел нарисовать в «Чочаре» и в «Римских рассказах» правдивую, неприкрашенную картину итальянской народной жизни. Позднее, опять-таки одним из первых, прозорливо почувствовал трагедию, которую несет итальянцам «общество сверхпотребления»: отчуждение личности, распад духовных связей, все то, что в научной литературе зовется ныне некоммуникабельностью, а попросту — душевным очерствением, одиночеством, приводящим к неврозам, психическим расстройствам, самоубийству... Моравиа отнюдь не задается целью наметить какие-то пути выхода из тупика современной буржуазной жизни, но он бунтует против бездушного, жестокого мира, в котором вечная гонка за виллой, новым автомобилем, норковой шубой или всего лишь холодильником последней марки постепенно приводит к утрате простых человеческих чувств. (Речь, понятно, идет преимущественно о том социальном слое, к которому принадлежит сам писатель и недуг которого он особенно болезненно ощущает. Ни к батракам и крестьянам Юга, ни к подавляющему большинству рабочих Севера, ни к мелким служащим, ни к безработным, ни к эмигрантам, отправляющимся в поисках заработка на чужбину,— словом, ко всем тем, кто добывает хлеб насущный тяжким трудом, психологические последствия пресловутого «сверхпотребления», как, впрочем, и оно само, непосредственного отношения не имеют.) Эти мучительные процессы, происходящие в окружающем писателя страшном, трижды безумном мире, он с глубоким психологизмом раскрыл и в своем романе «Скука», и в сборниках новелл «Автомат» и «Вещь это вещь» (некоторые из них знакомы советскому читателю), и в песне

«Мир таков, как он есть». В сущности эти же процессы нам весьма наглядно показали в своих фильмах Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.

Теперь Альберто Моравиа всем своим существом ощущает всеобщее и полное падение веры в неизбежность капиталистической системы. Предчувствие катастрофы звучит в самом заголовке диалога, как неожиданно четкая и ясная констатация: «Приближается решительный час».

Г. БОГЕМСКИЙ

«НЕОБХОДИМА ЛИТЕРАТУРА ЯСНАЯ И СМЕЛАЯ...»

Недавно на страницах югославского литературного журнала «Современник» появилась подборка критических статей под несколько неожиданным на первый взгляд названием — «Новые значения критического реализма». Подборка включала главным образом материалы, не касающиеся непосредственно проблем югославской литературы. Можно было предположить, что обращение редакции «Современника» к проблемам реализма носит чисто теоретический характер. Вскоре, однако, последовала еще одна публикация на ту же тему. Это была статья редактора журнала Предрага Палавестры «Трансформация критического реализма».

«Отношение к критическому реализму как к творческому методу и направлению литературы стало для многих современных писателей одним из тех вопросов, с которыми они сталкиваются ежедневно, почти на каждом шагу,— писал Палавестра.— Кроме участвовавших в последнее время разговоров о трансформациях реалистической структуры в современной литературе и искусстве, кроме разных книг, написанных в новейшее время о характере современного реализма и различных способах отражения реальности в литературе нашего времени, вопрос об отношении к реализму возникает у многих писателей и сам по себе, изнутри, на основании их собственной творческой практики. Дух реализма — а у нас одно время полагали, что он навсегда уничтожен и удален из литературы,— скитается и по сей день по всему зданию нашей литературы и наполняет своим дыханием многие литературные и критические распри».

Что же заставило редколлегию журнала «Современник» именно теперь заострить внимание своих читателей на вопросах, связанных с судьбами реалистического метода?

«...Общественные и политические процессы, протекавшие параллельно литературным спорам о реализме и влиявшие на их исход, создали у значительной части писателей впечатление, будто многие виды и ветви реалистической традиции изжили себя,— констатирует Палавестра, имея в виду ситуацию, возникшую в последние пятнадцать-двадцать лет в югославской литературе.— В силу естественных отношений, сложившихся в литературной жизни в те времена, когда принадлежность к силам прогресса определялась отрицательным отношением к реализму, наша литература оказалась на время в своего рода интеллектуальном и нравственном тупике...»

Сказано весьма определенно, горько и резко. Пожалуй, слишком резко. В югославской литературе последних двух десятилетий немало серьезных достижений, немало хороших книг, в том числе и книг, созданных писателями-реалистами. Но не об этом сейчас речь. Предраг Палавестра, один из ведущих критиков и редактор крупнейшего литературного журнала в Югославии, озабочен судьбой молодых писателей, чье мировоззрение и литературные склонности формировались в самое последнее время.

«Захваченные накалом чужих страстей, молодые писатели... получили упрощенное представление о реализме и его возможностях. А так как они не изучали как следует реализм, считая его мрачным наследием прошлого — ибо ложный победный блеск иных литературных направлений увлек и литературоведение,— они поневоле смотрели на реализм глазами его противников».

Это и дает критику моральное право намеренно сгустить краски. Совсем еще недавно, пишет он, в литературе Югославии

«доминировала определенная литературная концепция, и ее положение облегчалось не только декларациями о широте возможностей литературного авангардизма, но и недвусмысленной щедрой поддержкой влиятельных общественных институтов, рассчитывавших своей поддержкой авангарда достичь определенного политического эффекта. Дело дошло до того, что понятие реализма у нас в значительной мере отождествлялось с понятием консерватизма, эстетической отста-